

До последнего дня

Поэты моего поколения, русские поэты, в юности, как снегириныные гроздья, стаями налетали и, перекликаясь, звенели вокруг Василия Федорова. Доступный, порывистый, он поднимал над нами седую косматую голову и, взмахивая руками, сам вместе с нами летел...

Мы видели в нем смельчака, срастившего "распиленный" ствол национального древа поэзии: от Павла Васильева и до нас - рубка, щепки кое-где мелькали, а часть ствола уложена в шахтах Магадана и Певека. Мы, русские поэты, и сейчас это ощущаем - утрату "плотности" слова на поле воображения. Причина - уничтожение поэтов, заметных и перспективных, в поколениях.

В шестидесятые годы трагический федоровский афоризм пронзил нас и заставил повернуться лицом к пережитому:

Почему сыны твои, Россия,

Больше всех на свете водку пьют.

Почему?

Не надо удивляться.

Наши деды по нужде, поверь,

Пили столько, что опохмеляться

Внукам их приходится теперь.

Находились "философы", осуждающие "пили столько, что опохмеляться внукам их приходится теперь": принимали впрямую, а ведь у поэта стон о замученных, слезы и кровь израненной памяти народа. Карательный разгул. Кровавое похмелье. Догулялись. Дорасстреливались. Женщины детей не хотят родить: нищеты и бойни пугаются...

Буквально за несколько дней до смерти Василий Дмитриевич встретил меня в фойе ЦДЛ: - Валентин, помоги Рахвалову, северянину, одаренный, доведи до приема в Союз писателей его, а я устал! - И потерял галстук... К нам подошел Михаил Львов. Но Федоров продолжал: - Помоги Рахвалову, талантливый, обязательно помоги. Правда, такой блистательной судьбы поэта, как у тебя, у него никогда не будет, но помоги!..

Мы были потрясены угнетенностью Федорова. Смертельно усталый, он, показалось нам, отстранялся от жизни добровольно, отталкивался, а давно ли взлетал? И в этой его усталости сквозила горечь. Не так давила физическая усталость, как давила надвигающаяся катастрофа: ее чуют поэты гораздо точнее сейсмологов.

Василий Дмитриевич, защищая и утверждая, особо меня не расхваливал и - вдруг. Не увидимся? Попрощался?... Дышал затрудненно. Раньше он потерял галстук перед выступлением, перед сценой, а тут перед чем?

Вскоре я исчез из Москвы. Вернулся, а жена укоряет:

- Тебя Василий Дмитриевич искал!..

- А где он?..

- На Кавказе...

И раздается трескучий звонок. Я успел сказать: - О нем...

А в трубке: "Василий Дмитриевич умер!.." - сообщил Прокушев.

Верящий в доблестную державность родного народа, Василий Федоров служил ему, болезненно реагируя на ложь и схоластику новоявленных лидеров, бессовестно предающих страну. А в стране начинались переворотные аварии, взрывы атомных реакторов и землетрясения.

Смотрю я на некоторых ушастых дикторов телевидения, слушаю их, мышей летучих, и думаю: "Все вы - циники и роботы!.. Ликуя, докладываете о распродаже и развале великой державы, и, "красно-коричневые", национализмом и шовинизмом нас взбадриваете, катая на шершавом языке нашу привычную молитвенную есенинскую просьбу, как я уже вас высмеивал раньше: "О, Русь, взмахни крылами!"..

Но получается-то у вас не "О, Русь, взмахни крылами!..", а "О, гусь, взмахни крылами!".. Ну, взмахнет гусь крылами, а дальше? Такие вы - дикторы, такие вы - артисты, такие вы - поэты... Зачем вы, "гусские", Есенина искажаете? Зачем вы, "гусские", о Федорове молчите?"..

Горит душа,

Горят сады,

Великий зной

Томит природу.

В извечном поиске воды

Копай, копай -

И встретишь воду.

Но пересохло горло певца: слез и мук ему не хватило овладеть собою и воскреснуть? Или с лихвою их досталось? У него не было "Василия Федорова": сам поднимал себя и сам унимал собственную боль и тоску по счастью, отобранному у него и у его народа. Превозмог себя и встал рядом с Есениным и Твардовским, встал - с горечью во взгляде и с вещим страданием в сердце.

Пророчества и видения, наития и разгадки посещали его ум, бередили его душу. Укорачивая минуты, к сознанию поэта мать пробиралась по окопам и тюрьмам, голодная и холодная, по колхозным коровникам и разоренным сельским халупам - к нему, к сыну, шла отогреться и успокоиться.

А мне надо было явиться в Москву. Надо было уволиться из мартена. Надо было дотянуться до его непродажного плеча. А он пока в Чехословакии. А столик - в ЦДЛ... За столиком Светлов уточняет:

- К кому, к кому? К Ваське, к Ваське обращаешься?..

- Для вас Васька, а для меня Василий Дмитриевич!..

- А я для тебя кто?..

- Никто!..

Михаил Аркадьевич уронил вилку: - В Союз писателей через мой труп... - щуровато оскорбился. А Володя Фирсов мне в ухо: - Балда! - А Саша Говоров Ирине в ухо: - Твой колун дров наломал, увози!.

Разрядил атмосферу Толя Заяц: - Поставь еще бутылочку коньяка, Валек, и все рассосется!..

- Не рассосется!- завозился Слава Богданов... Я, Ира и Слава понуро покинули ЦДЛ. Но ЦДЛ - ЦДЛ, не содрогнулся от мелочи, я же виновато покаялся перед Василием Дмитриевичем Федоровым, возвратившимся из командировки: - Случайно, Василий Дмитриевич, застопорился и нахамил, на трассе труп!..

- Тактическая ошибка - покачал кутузовской головою Василий Дмитриевич, - преграда существенная, вынуждены на марше перешагивать через гениев.

Но Светлов не затаил ни обиды, ни мести и не помешал. Узнав, что я принят, громко позвал в ресторане: - Сорокин, иди, я тебя поздравлю и угощу!.. - А Василий Дмитриевич посоветовал: - Поосторожнее в ЦДЛ. поосторожнее!..

В те годы застольные "толчки" - почетная декорация, антураж и легенды ЦДЛ. Но брежневский "застой" изменил картину: в ЦДЛ появились уголовники, убийцы, вызволенные из-за решетки депутатами-соцгероями и членами ЦК КПСС... Федорова подкарауливали у лифта.

А предательство Горбачева разложило ЦДЛ - урки нагло вытеснили писателей. И уголовник, в сравнении с ними, не убийца - ангел, поскольку "дооформился" физиономией, и, побрить ему башку, - копия Михаила Сергеевича Горбачева. Везет русскому народу на авантюристов и грабителей:

Тем, жалким,

Что не нам поют,

Тем, что с врагами втайне ладят.

Тем, что Россию продают,

За рубежом

Неплохо платят.

Горько сейчас писателю: думы его - бессонны, глаза его - напряжены, перо его нервно скрипит по бумаге, а душа каменеет. Нет перед ним живой литературной дороги: книга распята ценами, слово оскорблено госчиновничеством и место писателя отдано нахальным приватизаторам и дармоедам. А Родина - в междоусобицах, в слезах и в крови, плещущей по окраинам...

Василий Федоров, один из крупнейших поэтов наших, предчувствовал приход "к штурвалу корабля" безответственной "команды", у которой не хватит ума приникнуть сердцем и слиться с голубым скифским простором всем существом своим, и вдаль устремиться, врачуя могилы и пашни, окликаемая мужественной добротой края и народы:

Берегите меня

До последнего дня.

Берегите меня

До последнего часа.

Берегите меня,

Как цыгане коня.

Чтобы гикнуть потом

И умчаться.

Не уберегли целую конницу изумительных страстей таланта. Люди, умеющие помогать России божьей искрой таланта, отвергнуты, отсунуты, а на сцены и на экраны выпущены стаи малярийных болотных комаров. Трясет нас от развратного и бесполого "искусства", от спидового ликования хмырей. Ложь не утвердится на линии постоянства, а пошлость не оправдает надежды уродов. Вдохновение - конь крылатый и выносливый, и всадник здесь требуется не банальный.

Вот и промчались они - гики слышу... Вот и канули они в синюю дымь России - ветер и сумрак после них. Вот и горизонт русский окаймился - бездонный котлован пустоты гудит. Ну, где они, огненные витязи века? Где Гумилев, где Блок, где Есенин? Где Маяковский?

А братья их меньшие, Васильев, Корнилов, Ручьев где?..

Василий Федоров - последний из огненных. Последний - из отважных. Последний - из умытых маминой слезою. А перед ним - отравленный водкой - Павел Шубин, истерзанный туберкулезом - Петр Комаров, зарезанный трамваем - Алексей Недогонов, выброшенный береговцами из поезда - Дмитрий Кедрин. Это они - от Державина и Пушкина, Лермонтова и Некрасова, Кольцова и Никитина. Огненные всадники!..

Не странно ли,

До этого момента

Он говорил по-русски без акцента,

Как будто не пришел издалека.

Теперь же с подозрением предательств

В минуту гнева для простых ругательств

Чужого не хватало языка.

Так в каждом при смятении душевном

Рассудок

В силах уступает генам.

Да, многие случайные телеэкранные, полонившие студии, не только петь и плакать без акцента, но и сматериться без картавости не способны...

Никого не надо отпихивать от родного народа, от родной думы и родной речи, но Родина - не гудящий котлован, мраком повитый, а вечный холм, окруженный долинами и склонами, обрамленный лесами и реками, упестренный травами и цветами. Почему поэт - поэт? Почему человек - человек? А потому: огненные всадники поколений, как звёзды через мерцающий космос, звенят стременами и скачут через трепещущую душу поэта, без которой человек и себя не познает.

Василий Федоров запоздало входил в поэзию. Один входил. Ровесники его - почти все погибли. Седой, высокий, благородный - входил, а рядом крикуны падали в обморок на эстрадах, модные, "западные", диссидентствующие: Хрущев днем их крыл матом, а вечером пил с ними на политбюровских дачах, как Брежнев, как Горбачев - приласкивал, подкармливал, похлопывая генсекской властной ладонью по милым мордашкам оппозиционеров, холуев США и СССР, переделкинских волкодавов, превращенных в кремлевских котиков, мурлыкающих и виляющих.

Львы и псы?

Приём не нов.

На арену драк и драчек

Дрессировщик грозных львов

Выпускает злых собачек.

И сегодня имеются у дрессировщиков пудели, боксёры, дворняжки есть даже одряхлевшие, уцелевшие реликты, московские сторожевые.

Нажми на плафончик телевизора...

Те и лают и визжат,

Заглушаемые рыком,

На арене мельтешат,

Застелив глаза владыкам.

Чтоб казалось,

Что у львов,

А у грозных и тем паче,

Злее не было врагов

Этих шустреньких собачек.

Однако, стаи надрессированных собачек, гавкающих по указке, захватили "культурные рубежи" - настоящим львам не пробиться, а львам бутафорским, бумажным псевдонимным тиграм, пожалуйста - главные кресла. Концерт!..

* * *

Василий Дмитриевич Федоров ценил шутку, острую "пику", когда веселый, много смеялся, порывисто говорил. Соглашался на внезапных разницах мнений примириться и опять - смеяться. Когда же сердитый - возражал нередко там, где и нет причины возражать. Для остротки... А вообще - грустный, в основном, вроде обособленно-замкнутый, но понятный, близкий невысказанными заботами, очень свой.

Федоров - поэт счастливый: как редкого прозаика, поэта Федорова молодежь запомнила даже не по названиям его книг, а по героям его произведений... В московских школах меня часто спрашивали! "А Марьяна, лётчица, жива?" Улыбающийся авиатор допытывался: "Те самолеты Василий Федоров хорошо знает, а знает ли он принципиально обновленный тип машин, я вот изучаю, а он, поди, забыл?" Инженер, мастер не дремал в поэте... Родным чумазым мартеновцам я внушал:

"Харитон мог в тюрьме погибнуть, мог и на войне пасть!"....

Да, поэмы Василия Федорова, как романы: пронзили сознание наше, внедрились в него и действуют вместе с нами. Поэмы - жизнь. "Проданная Венера", "Золотая жила", "Седьмое небо" - группа поэм, с единым сюжетным путем и в едином времени. Та же "Белая роща", появившаяся раньше "Седьмого неба", и "Женитьба Донжуана", за "Седьмым небом" рожденная, но и они едины, как сибирская дорога.

Ведь какая красавица и умница Глаша, возлюбленная Харитона: смешливо-лукавая, грустно-смышлёная, трагически-верная, работающая и точеная, вся Богом вылеплена на святую страсть и материнство. Но гневом и волнами революции закручена, скомкана и разрушена в начале зрелой поры. Не сумел Харитон справиться ни с самим собою, ни с ней, ни с днем, грозно прогремевшим: кинулся в бурю!..

Сейчас нам легко плевать в прошлое, поскольку и грядущее у нас почти отобрано. Родина рассечена, народы раздерганы по конфликтам и региональным противостояниям, а мы, русские, как бы раздарены щедрыми негодьями века по "суверенным территориям", мы "слететься" не в состоянии - дорого, приехать - вагон ломается и дребезжит, а позвонить - скверно слышно и дерут за секунду больше, чем при Брежнев - за рейс по воздуху. Брежнев - святой!..

Василий Федоров - статный поэт, колоритный и мудрый. Слово его и образ его бунтарским соком налиты, солнечной дерзостью подвига. Его любимцы - Аввакум, Бетховен, вздыбленные духом великаны. И справедливое осмысленное непокорство поэта священно. Ведь народ довели - иначе бы не поднялся он? Но - повернули брата на брата...

И Федоров отлично понимал понапрасную русскую кровь:

За красоту

Времен грядущих

Мы заплатили красотой.

Та красота похоронена в расстрельных подвалах и в обелисковых курганах могил, а эта красота, нынешняя, - в очереди за молоком и за хлебом, в окриках кровавых грызунов: "Эй, вы, красно-коричневые, хлеба хотите, молока хотите, вы разве еще детей родите?"... Так нам и надо, нам, поверившим в синтетических лысых и хромых пророков.

Пятнолобые идола перестройки вопят: "Не приведи Господи, разинщину, пугачевщину, буслаевщину!.." Ишь, заерзали? А почему бы и не привести? Пушкин Александр Сергеевич, например, дал нам образ Пугачева - образ не достойнее ли члена политбюро А.Н. Яковлева? Уж лучше за Стенькой Разиным пойти, но не за Горбачевым, размотавшим нашу великую Родину! Но мы - и ныне трусим: озираясь, возражаем, отвергая, нервничаем. Где авторитетное спокойствие протеста?

На фоне "новаторства и революционности" шестидесятых годов творчество Федорова выглядело чуть ли не классическим: речь упругая, яркая, система сравнений и метафор народная, чувство и мысль мастерски слиты, и всё достоверно, все по-русски, без рыночного акцента на торговлю бессмертными заветами. Русский, как большой и тёплый снег, Василий Федоров географично входил в литературу, запасно обеспечен даром и вдохновением, входил, нас, за ним спешащих, прикрывая сибирским крылом надежным.

Я знаю, благородные случайности взаимосвязаны: я - ученик Василия Дмитриевича Фёдорова. И Бог поручил мне проводить в последний путь учителя. На кладбище, филиале Новодевичьего, "траурный митинг" вёл я. Василий Дмитриевич лежал в гробу - седой, мудрый, красивый. Спокойный и независимый.

Ко мне торопливо обращались его друзья:

- Валентин, не спеши... Раиса Ахматова прилетела!..

- Валентин, Рая Ахматова, Ахматова Рая в аэропорту, прилетела!..

- Валентин, погоди, Ахматова едет!..

И не приехала, а влетела, на такси - и прямо к нему... В распахнутой коричневой шубке. Темноволосая. Кареглазая. Стройная. Поднялась, а говорить трудно. Слезы на ресницах. Качает головою и молчит...

Я часто их видел в Переделкино, весёлых и смеющихся, не обращающих никакого внимания на встречных, словно - лишь вдвоём они, Рая да Вася, Вася и Рая, шли, вечно молодые, по родной земле, он - русский поэт, она - чеченская поэтесса. А за ними - многонародная Россия, СССР! Сегодня их нет с нами. И СССР нет. Сегодня - Россия... И - НАТО...

Сегодня в Чечне вырезают русских боевики. А боевиков карают спецназ и ФСБ. Сегодня - война, развязанная предателями, кремлёвскими ленинцами, масонствующими ублюдками века и еврействующим Дудаевым. Горбачёв, Яковлев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Арбатов, Примаков, а Грачёв и Калугин, а Коржаков и Филатов, а литбратия - Адамович и Евтушенко, Гербер и Коротич, Павлычко и Драч? Сколько же их, ветхозаветных, оцэкашенных и одепутатенных, Иуд?..

Болели за Россию Леонов и Шолохов, Соболев и Закруткин, Прокофьев и Фёдоров, Бондарев и Акулов, Чивилихин и Воробьев, Можаяев и Абрамов, Иванов и Пикуль, Калинин и Шевцов, Проскурин и Лобанов, Прокушев и Петелин, Белов и Чалмаев, Жуков и Ларионов, Машковцев и Рубцов. Богданов и Примеров, да и невозможно назвать нас, всех, кто жизнь и слово своё не мыслит без отчей борозды.

Но я ни разу на этой трудной борозде русской не заметил ни Слуцкого, ни Межирова, ни Кожина, а замечательных лириков, Куняева и Шкляревского, авторов "Литературки", "Юности" и "Знамя", впервые переступивших порог русского журнала "Молодая Гвардия"

перед семидесятью годами, я заужал мгновено - патриоты, опоздавшие, но патриоты. Жаль - Межиров сбежал в США и Евтушенко с Коротичем тоже...

Уютно было с Василием Дмитриевичем, как с братом старшим. Несуетность и музыка, мятеж и плавность душевного полета, вера в скорую радость, это - трава, росую напоенная, а, может, ковыль седой: сколько его не топчи монгольская орда, выстоит, выпрямится и засверкает:

Станет Глаша

Пьяной и незрячей,

Чтобы дома,

Радуюсь опять,

С белой кофты след руки горячей

С гордою улыбкой замывать.

Или - из частушки, из ладушки-складушки, похвастушки:

Были реки и речонки,

И на каждой, чуть прилгу.

По заплаканной девчонке

Оставлял на берегу.

Это - песня. Это - лихость. Это - удалая пляска вольницы, или слеза матери, ворожба колыбельная при лампе керосиновой или при луне, молчаливой и золотоволосой колдунье края...

Тяга Василия Федорова к аввакумовской душевной громадине, к зовущей вершине эпоса, к спасательной твердыне традиции равна его тяге к океанскому шторму бетховенского искусства. Федоров, полный народным гневом и народным затишьем, жадно радуется незлобивостью, он - поэт, он - струна, из человеческого сердца и до звезды протянутая:

Вот и море, вот оно волною.

Гальками прибрежными шуршит.

Ничего, что пережито мною,

Не смывает - только ворошит.

Какие-то дьявольские "стратеги" истребляют в нашем народе самых прочных и самых ранимых, думающих пахарей и ученых, рабочих и поэтов, самых свободногосых и яростнословных:

Брат Родину любил, за это

Врагами был он оклеветан,

И на плацу тюремных плит

Был именем ее убит.

Сидел, однажды, я у Рюрика Александровича Ивнева и наизусть читал ему стихи Федорова:

И видел я незримое доселе,

Над головой моей издалика

Похожие на древних птиц, летели

Напуганные чем-то облака.

Рюрик Александрович - старый бобер, не проведешь на эффекте:

- А нельзя на него взглянуть?

- На кого?

- На твоего Федорова...

- Зачем?

- Очень крупно пишет, очень по-русски, что-то в нем от Павла Васильева, от Сергея Есенина, сразу!..

- Поехали?

- Едем.

Я позвонил. Лариса Федоровна ответила: - Он в ЦДЛ! - Мы погрузились в "рюриковскую" раздрызганную, как перестроечный вагон, обещающую взорваться, "Волгу", тронулись.

В дубовом зале, впереди, справа - Федоров. Замерли на минуту.

- Хватит. Едем обратно, - шепнул Рюрик Александрович, - достаточно!.. Гробообразная агрессивная "Волга" заскрежетала обратно.

-Ну, Рюрик Александрович!..

- А что "ну", что? У него лицо Бога! Такие лица, хоть я и долго живу, встречал мало. Вот Сережа, вот Паша!.. - жалостно заключил он.

Еще из мартена я посетовал Василию Дмитриевичу на трудную судьбу, на огонь, изматывающий меня, отправив ему, с его разрешения, целую "посылочку" со стихами. И уведомил: "Коли слабые - не отвечайте!"

Месяц, второй, третий, - четвертый жду - значит?.. И я приготовился: "Куда мне, стихи сочинять? Стихи сочиняют иные люди, иная у них кость и порода!".. И 7 ноября 1961 года я собрался в мартен, смена 16 часов, наихудшая: все - праздновать, а я - в пекло.

Мать моя перекрестила меня: "Ты уйдешь, а я гляжу и гляжу в окно на пламя и дым, на клубы черных выбросов и красных туч - пропадешь ты, сынок, сгоришь там, остался бы в деревне!".. Я захлопнул дверь, а на двери, в ящичке, - телеграмма... Читаю: "Поздравляю праздником и прекрасной книгой, подробности письмом". И подпись: Василий Федоров...

Я - в дверь. Отец, инвалид, подскочил на табурете и, солдат, как бы экспромтом ругнулся, угадавший победу... Я прочитал, мать быстро, быстро начала креститься. А в мартене, повторяя текст телеграммы в бригаде по требованию друзей, я был тут же заменен другим специалистом и отпущен начальником смены, Василием Репленцевым, домой: премия за высокую оценку моих стихов...

Василий Васильевич Репленцев был вообще странным. Он в обеденный перерыв за цехом читал мне Есенина, Ручьева, Корнилова, Павла Васильева и свои, неуклюжие и безнадежно искренние, строфы. Летом мартеновский цех буйно окружала конопля, и нас не видело более серьезное начальственное око, чем око самого Репленцева.

В суровом мартене человеческая нежность не диво: около железа и огня люди лишь внешне скупы и мрачны, а задень - свет вспыхнет и заискрится в них, как горная вода на камне. В мартене идешь - по железу, встал - на железо, упал - под тобою железо. Земли и ласки хочется.

В письме Василий Дмитриевич сообщил: сборник моих стихов запланирован в "Советском писателе", а если челябинская вёрстка книжки готова, то он поможет принять меня по ней в Союз писателей, не ждя "сигнального" экземпляра. И добавил: девять лет мартена - слишком. Время сменить профессию или учиться уехать. Довольно настойчиво порекомендовал "потолкаться" в Москве и зайти к нему.

Пока выпестовалось дело, в сосновом бору на Урале земляника поспела, и мама начала собирать ее и провеивать на балконе, рассыпав по бумажным листкам, вялить... Слеповатая и наивная, она, по-старушечьи экономно, рассыпала на трех страничках

фёдоровского письма челябинскую тугошекую землянику, перепутав письмо с моими рукописями...

Спохватились - мама смутилась и затужила. А на чистых оборотных страничках федоровского письма красные пятна присохли: мать виновата... При встрече в Москве я рассказал Василию Дмитриевичу эту историю.

- А не подарите мне то мое письмо?..

- Нет, оно у меня должно остаться...

На страничках письма присохли еще и робкие "отпечатки" маминых пальцев: пыталась, видно, снять пятна, на русскую кровь похожие...

Василий Дмитриевич в разговорах со мною нередко возвращался к своей юности, к своей матери, пересказывал мне "видение". Мать его причудилась ему и вздохнула: поэт, дескать, ты поэт, пожалала плечами и, горюючи, простила...

Федоров - горький поэт. И - сопротивляющийся поэт. Мужество - признак пережитого горя. Человек, выдюживший перед горем - мужественный и грустный внутри себя человек. Федоров - мужественный и грустный. Потому - цельный и нежный в угрюмости и бескорыстье.

Я боюсь неколеблющихся философов, ученых, врачей, командиров производства и государства. Ведь истинная неколебимость - от десятков и сотен сомнений и колебаний, заставивших тебя взвесить и взвесить, решить и решить, дабы встать за правду выстраданно, и по-хозяйски... Горькие люди - стойкие и мудрые люди, и они же к сестре, брату, к отцу, матери и к другу ближе неколеблющихся, несомневающих... Василий Дмитриевич, помню, читал в Лужниках:

А ведь сердце веселое

Миру я нёс,

И душой не кривил,

И ходил только прямо.

Ну, а если я мир

Не избавил от слез,

Не избавил родных,

Так зачем же я,

Мама?

А перед ним, через Евгения Евтушенко, пела Русланова: зал плакал, скандировал, подпевал. А за Евгением Евтушенко, зал вскидывал кулаки, топал, бросался вперед - за Ленина и свободу... Федоров же нервно пощипывал галстук, внимая могучему оратору и трибуну.

Но Ярослав Смеляков объявляет Федорова. И чуть недовольный благородный голос горем и откровением опрокидывает волны аплодисментов на себя, заставляет покориться ему тот же ошеломленный зал, только что приветствующий не его. Эх, телевизоры-ихтиозавры и дикторы-ваучеры!..

Недаром в письме есть фраза: "Москва слезам не верит!".. Не хнычь - и ты не спасуешь. Утром следующего дня мы с Вячеславом Богдановым, уральским поэтом, набрали номер телефона.

"Да, Федоров. Оба? Приезжайте!.. В халате, широко меряет комнату, рассерженный: - Ха, они приехали! И что? Думаете, вчерашние аплодисменты - всё? Если бы вы знали, какие споры и ссоры - терпеть невыносимо. Сколько же их, циников и роботов? Впереди у нас - катастрофа!"...

* * *

Но забежим вперед - в грядущий суд КПК надо мною: вот я - уже главный редактор "Современника", издательства, и вот я - уже в опале у ЦК КПСС.

Кремль, ЦК КПСС, члену Политбюро

товарищу Кириленко А.П.

Дорогой Андрей Павлович!

Я никогда бы не решился тревожить Вас, если бы душа моя не кричала от боли, позора и травли, что ежедневно вышибает меня из колеи. А направляют эту травлю ответственный работник ЦК КПСС Севрук В.Н. и ответственный работник КПК при ЦК КПСС Соколов А.В.

Севрук долгие годы следит за каждой моей напечатанной строкой, толкует ее на свой лад, звонит главным редакторам "Огонька", "Смены", "Комсомольской правды", "Советской России", звонит в ЦК ВЛКСМ, в Союзы писателей, шумит. Севрук оболгал мою поэму "Бессмертный маршал" - о Жукове, не прочитав даже, а увидев в газете "Советская Россия" отрывок из огромной поэмы главному редактору газеты М. Ненашеву и заведующему отделом А. Ларионову аварийно организовал встречу. Поэму срочно вернули мне из "Нашего современника". О ней срочно "забеспокоились" в СП СССР, СП РСФСР, в Московской писательской организации, ее срочно раскритиковали на общем партийном собрании литераторов столицы, а поэму никто не читал. Севрук занимает большой пост в ЦК КПСС, легко представить силу его ударов. Разве сложно понять по названиям моих поэм "Обелиски", "Евпатий Коловрат", "Орбита", "Пролетарий", "Красный волгарь", "Дмитрий Донской", "Плывущий Марс", "Дорога", лживость обвинений меня в идейной и философской шаткости...

В нашей печати неоднократно подчеркивалась рабочая суть моих поэм. Об этом говорил первый секретарь СП СССР Г.М. Марков в "Правде", секретарь СП СССР О.Н. Шестинский в "Правде", секретарь СП РСФСР В.Д. Федоров в "Правде". Об этом говорил секретарь СП РСФСР, ныне покойный С.С. Орлов - на последнем съезде писателей РСФСР, первый секретарь Правления Московской писательской организации Ф.Ф. Кузнецов - на недавнем совещании.

Севрук жестоко, через КГБ, преследует меня. Тринадцать лет, повторяю, тринадцать лет он не выпускал меня за границу. Только вмешательство КГБ же положило предел его упражнению. Но после пяти моих выездов Севрук снова наложил "вето". Осенью 1978 года он запретил мне поездку на Кубу. Почему? Да только потому, что я поэт-коммунист, что я нигде за рубежом не предал и не предаю интересы и честь Родины.

Севрук стремится "наклеить" на меня ярлык русофила-шовиниста, преднамеренно искажая смысл моих интернациональных стихотворных циклов о братстве советской России и республик советской Азии, о дружбе с народами Кавказа, о братстве трех славянских народов - русского, украинского, белорусского. Севрук подверг осмеянию мои стихи, посвященные дружественной нам Индии. Все, что я ни делаю - все, судя по нездоровой реакции Севрука, - "не то"... А "то" для Севрука - "произведения" Л. Халифа, сбежавшего в США, "то" для Севрука - "произведения" А. Гладилина, сбежавшего за рубеж. Не раз Севрук звонил мне, главному редактору "Современника", требовал немедленно издать их. Нажим со стороны Севрука "кого печатать, кого не печатать" в "Современнике" - отдельная тема, и я к ней еще вернусь.

Используя мою горячность, мою искренность в работе, Севрук довел дело до КПК. Но перед КПК надо мной и над моей семьей было совершено такое надругательство, какое совершают теперь только израильтяне над палестинцами. Замки моей квартиры, данной мне Правлением Московской писательской организации, решением жилищной комиссии Моссовета, гарантийным письмом секретаря Правления Московской писательской организации, в дни августа, когда я, затравленный Севруком и Соколовым, тяжело заболел, - разбили. Соколов нервно пытал мою жену, есть ли у меня "больничный", звонил на работу. А в это время из моей квартиры летели детские игрушки, книги, койки, столы, шкафы чуть ли не на голову кричащей толпе, скопившейся возле дома, возле дверей моей квартиры, куда ввозили мультимиллиардершу мадам Онассис. Поняв, что я поставлен в критическое положение, что это дело может иметь по разным "голосам" разные толкования, я скрылся в деревне под Москвой, чтобы никто не мог меня найти до тех пор, пока севруки и соколовы не угомонятся издеваться над моей семьей, до тех пор, пока мультимиллиардерша Онассис не закончит переселение.

Иронично теперь звучат строки В.В. Маяковского!

У советских

собственная гордость -

На буржуев смотрим

свысока!

Когда я рассказал об этом Соколову, у Соколова, мне показалось, блеснула на ресницах слеза, но в день работы коллегии КПК Соколов обвинил меня в стяжательстве, наглости, хамстве. Дескать, въехал без ордера. Весь дом въехал без ордера. Многие получили ордер - Соколов знает, - после соколовского суда надо мной. Соколов не знает, кто навел мадам Онассис на мою семью, почему навел... Соколов не знает, что я долгие годы жил с семьей в бараке Челябинского металлургического завода, Соколов не знает, что я семь лет ездил на работу в Москву, теряя шесть часов в сутки на дороге. Соколов не знает, что за семь лет жизни в гнилой квартире Подмосковья мой старший сын заболел нефритом. Соколов не знает, что младшего моего сына от такого же заболевания спас КГБ, когда я, не имея московской прописки, пытался полумертвого положить его в московскую больницу. Восемь часов мы с женой возили его на такси по городу, но ни одна больница не приняла, пока не позвонил я в КГБ. Соколов не знает, что я несколько раз получал отказ на московскую прописку. Последний отказ - в день отъезда из Москвы в Израиль еврействующего Наума Коржавина, стихи которого о Ленине в тот же день напечатала городская газета...

Меня укоряют в том, что я нарушил подписку-обещание не въезжать в Москву, не просить жилья. И все это - Соколов. Мою жену в Моссовете оскорбили, унизили, довели и ее до болезни. Я, видимо, для Севрука и Соколова - представитель неполноценного народа, чем же иначе можно объяснить их ненависть ко мне и терпимость к тем, кто продает нашу Родину? Широкая литературная общественность не успокоится до тех пор, пока сеятели зла и безобразия не будут наказаны, пока не будет мне и моей семье принесено публичное извинение. Такие деятели, как Севрук и Соколов, компрометируют жизнь, воспитывают "героев" шумно перекочевавших от нас в журналы "Континент", "Посев", "Метрополь" и другие гундосые издания...

Севрук и Соколов громко подсчитали мои заработки. Почему же они не подсчитали заработки Чаковского, Липкина, Полевого, Катаева, Симонова, Евтушенко,

Рождественского, Вознесенского? Севрук и Соколов подсчитали мизерные тиражи моих книг. Почему же они не подсчитали многомиллионные тиражи других?..

Шестидесятые годы - для примера.

В. Сорокин "Я не знаю покоя", 3 п.л., 7 тыс. экз.

Е. Евтушенко "Взмах руки", 9 п.л., 100 тыс. экз.

Эти годы - для примера:

В. Сорокин "Озерная сторона", 8 п.л., 20 тыс. экз.

Е. Евтушенко "Поэмы", 10 п.л., 100 тыс. экз.

В. Сорокин "Плывущий Марс", 8 п.л., 66 тыс. экз.

А. Вознесенский "Соблазн", 8 п.л., 200 тыс. экз.

Если буду сравнивать дальше, Севруку и Соколову будет очень неудобно. Я уже не говорю о том, кто и как печатается в периодике, выступает по радио и телевидению, переводится у нас, издается за рубежами...

Почему Соколов не поинтересовался моей тяжелой судьбой? Ко всему, что я сейчас представляю собой, я шел через голод, холод, шел из дикости, нужды, безграмотности. А ведь я автор 30 поэм. Чтобы написать эти поэмы и сотни стихов, я проделал

гигантскую работу. Работа поэта - каторжная работа.

Книгу поэм "Огонь" я писал 15 лет. За поэмы мне присуждена в 1974 году премия им. Ленинского комсомола. За поэмы. Разве Это пустяк? Книгу "Озерная сторона" я собирал с 1954 по 1964 годы. Десять лет. Книгу "Багряные соловьи" - с 1964 по 1973 годы. Девять лет. Книгу "Плывущий Марс" - с 1973 по 1977 годы. Четыре года. Ни одна стихотворная строка в этих книгах не повторяется. Почему Соколов умолчал об этом?..

Удивляюсь, как могли Севрук и Соколов судить меня за тысячи моих бессонных ночей и обвинять еще тех благородных людей, которые мне помогли. Я считаю А.В. Софронова выдающимся публицистом и мудрым человеком, а они его осудили. Помогали мне и помогают Н. Воронов, В. Белов, М.А. Алексеев, С. Поделков, Б. Можжев. В. Федоров, В. Астафьев, Ю. Бондарев, С. Наровчатов, С. Викулов, А. Иванов, З. Прокопьева, М. Львов, Л. Татьяничева, М. Карим, О. Шестинский, Ф. Абрамов, В. Пикуль, Е. Исаев, Ф. Кузнецов и десятки других. Без них меня и мою семью растоптали бы севруки и соколовы. Я осужден еще за то, что более 20 лет назад подделал, якобы, аттестат зрелости, за то, что окончил Высшие литературные курсы, а не институт. Надо бы Севруку и Соколову сначала посмертно осудить и опозорить классиков! Державина, Кольцова, Некрасова, Никитина, Лескова, Бунина, Горького, Маяковского, Есенина, осудить и опозорить Шолохова, Леонова и т.д., и т.п., а потом уж и до меня, грешного, добраться. Или надо бы Севруку и Соколову девять лет пропотеть в мартене и пройти путь от литконсульта до главного редактора, поумнели бы...

Севрук и Соколов ввели в заблуждение Шолохова. Они не разъяснили ему, что его дочь, работавшая в "Современнике", паразитировала, и кроме позора ничего не принесла отцу. Обиду Шолохова, хотя и понятную, Севрук и Соколов использовали против моей судьбы. Письмо Шолохова и телеграммы в ЦК КПСС одно время разносил по пьяным компаниям древний, но все еще начинающий, критик В. Дробышев, распечатанные на ксероксе. Кто дал ему право? Как документ, посланный в ЦК КПСС, попал в руки к Дробышеву, ранее судимому за убийство человека? Шолохов устал. А вдруг за Шолохова и "бомбит" ЦК КПСС богемный аферист? Соцреализм...

Мои просчеты в жизни или в работе не дают право Севруку и Соколову ежедневно травить и мучить меня. Соколов так односторонне, так злобно "прорабатывал" во "всех инстанциях", меня, что многие мои товарищи ожидали от него хунвейбинских выкриков - "Размозжим собачью голову!.." Севрук и Соколов оскорбили своей жестокостью и необъективностью целую группу русских писателей: меня, Владимира Львовского, Юрия Прокушева, единственного в стране достойного специалиста по творчеству Есенина.

Кстати, коллегия КПК разбирала наше "дело" 3 и 4 октября, в день рождения великого русского поэта, Сергея Александровича Есенина...

Севрук мерзко "прошелся" по биографиям и делам русских современных писателей Э. Софонова, В. Петелина, С. Семанова, В. Тендрякова, А. Ларионова, О. Михайлова, В. Чалмаева, В. Машковцева, С. Высоцкого, И. Акулова, Н. Сергованцева, Ю. Прокушева, В. Львовского, Н. Воронова, Ю. Медведева и др. Чем мы ему не угодили? Тем, что не торгуем патриотическими заветами.

Были у меня минуты, когда не хотелось жить. Я часто думаю: если бы встали сейчас Маяковский и Есенин, то травля, которая их погребла, показалась бы им праздником перед травлей, которая кипит вокруг меня, руководимая Севруком и Соколовым.

Соколов не унимается. Он требует, чтобы я немедленно сдал партбилет. Из Министерства просвещения РСФСР требуют, по велению Соколова, сдать аттестат зрелости, грозят судом. Моссовет, после смотрового ордера, отобрал у меня 16 февраля еще одну квартиру. Травля распространилась на мою мать, жену, детей. У моего старшего сына аттестат зрелости Соколов объявил тоже поддельным.

Пройдут годы, и те, кто будет интересоваться моим творчеством, будут потрясены жестокостью этих людей, этих ответственных работников, этих ликующе прожорливых чудовищ.

Никакого служебного положения я не использовал. Я работал, как пел. Написал сотни стихов и десятки поэм и напечатал большинство из них до того, как стал главным редактором. Могу доказать это по книгам.

Считаю грубой фальсификацией и вопрос о квартире. Не меня надо было наказывать за это, а Соколова, скрывшего от меня все обвинительные документы.

Севрук и Соколов выбросили меня из списков кандидатов на соискание Государственной премии РСФСР им. А.М. Горького.

Словом, я виноват в том, в чем виноваты все русские поэты, особенно те, которые расстреляны в 1937 году такими вот севруками и соколовыми. А ведь Ленин учил беречь таланты. Или нет?.. Следуя извращенной, животной их логике, надо тогда судить М. Алексеева, А. Чаковского, С. Михалкова, В. Кожевникова, Ю. Бондарева, А. Иванова, Л. Леонова, А. Твардовского, М. Шолохова, К. Федина, Л. Соболева за их "собрания сочинений", за их звания и должности, за то, что, как сказал графоман И. Дроздов, у которого украл эту фразу Соколов, "печатаются методом перекрестного опыления..." Значит - все они бесчестны?..

А. Твардовский, печатавший свои стихи и поэмы в "своем" журнале "Новый мир" - преступник?.. Он же, поступивший без среднего образования в ВУЗ, с помощью друзей, - негодяй?.. Какие же чистюли - Севрук и Соколов!.. Целомудреннее кастратов.

Соколов объявил недействительным мой диплом об окончании университета марксизма-ленинизма только потому, что не нашел какие-то контрольные работы. А я тут причем?

Чего добивается Соколов? Моего выпада? Как ему не стыдно! Нашел врага!.. Звонит в журналы "Огонек", "Наш современник", "Новый мир", звонит в ЖЭКи и ведомства, звонит в Челябинск, Свердловск, Уфу, Курган, Казань, Саранск, Ташкент, Баку, Ереван, Улан-Удэ, Абакан, вынюхивая компроматы, засылает в мой родной сельский район сыщиков и стукачей, юродствующий иезуит. Травля Севруком и Соколовым меня - черная, ныне уже политическая и национальная травля. Отнимание квартир, угрозы, шантаж - их дело. Их руки - в моей крови!..

Севрук негодует, что издательство "Современник" не прячется от острых произведений В. Тендрякова, И. Акулова, В. Шошина, Т. Глушковой, В. Лихоносова, С. Куняева, В. Кожинова, Ф. Абрамова, Н. Воронова, М. Карима, Б. Можаяева, И. Шевцова, В. Белова, Ю. Шесталова, В. Астафьева, Р. Бикбаева, В. Распутина, А. Ларионова, О. Михайлова, В. Чалмаева, Г. Коновалова, В. Цховребова, что издательство не плодит зло, не ссорит русских писателей с правительством, а стремится самостоятельно, как и положено издательству, выводить острые рукописи на уровень наших нравственных и гражданских норм, наших, интернациональных обязанностей. Севрук спит и видит "Метрополи"... Диссидент.

Работа главного редактора непростая, конечно, будут ошибки, будут обиженные. Севрук и Соколов умело использовали жалобы сотрудников издательства Панкрата Ю.И., Целищева А.А. в своих далеко идущих целях. А цели их, как я убедился на горьком опыте, смыкаются с антирусскими целями сионистов: трави сильного гою, а слабый сам замолчит...

Ю. Панкратов начал свой литературный путь с оголтелой антирусскости, А. Целищев - автор 15-20 тощих стихотворений, что отлично знают Севрук и Соколов. Я начал свой литературный путь с многолетнего труда в 1-ом мартеновском цехе ЧМЗ.

Все ошибки признаю. Всю свою жизнь и судьбу признаю, потому что работаю на родную землю с 14 лет. Но никогда не признаю подлого метода травли, запугивания, унижения, никогда, если даже будет стоить мне это головы.

Я хочу, чтобы знали об этом Вы, знали моя семья, мои друзья!..

С глубоким уважением

Валентин Сорокин

25 июля 1979 г.

Вечер в Лужниках прошумел в июле 1966 года. Я приехал тогда уже из Саратова, где вел отдел поэзии в журнале "Волга", окончив Высшие литературные курсы в 1965 году. А впервые я встретился с Василием Дмитриевичем в июне 1962 года, запоздало явившись по его письму, на котором землянику мама рассыпала, и получил членский билет Союза писателей СССР.

* * *

Василий Дмитриевич, спортивный, высокий и седой, в сером костюме, хохотал над моим волнением: - Лара, предложи ему не вина, а построже чего-нибудь, на нем лица нет! - И Лариса Федоровна помогла мне выбраться из непривычной ситуации. Со мной - Ирина и верный друг мой, Вячеслав Богданов, из Челябинска, однокашник по ФЗО № 5 и по заводу...

На беседу Федоровы Семена Шуртакова, соседа, пригласили, И зазвучали стихи. И - вечен этот день, вечна эта ночь, вечен рассвет, объединивший нас. Теперь Семен Шуртаков "изрезан" морщинами, и нас не минуло дыхание лет, а Слава Богданов погиб.

"Лара, - погромыхивал Василий Дмитриевич, - Семен, ты представь, в "Украине" расположились, коньяк у них, этот - из мартена, а этот - из коксохима! Не бородатые, семей не побросали, жен не поменяли и стихи у них замечательные, Семен. А молодые и красивые, глянь. И за границу не спешат. Кроме как в Москву, поди, никуда их не пристроили, и всё еще скромные!.." Семён поддерживал его и нас.

В молодости я видел перед собою некое не заполненное синевой и солнцем, "беспейзажное" расстояние. И мне казалось: у Бориса Ручьева, у Людмилы Константиновны Татьяничевой, у Михаила Львова, у Ивана Акулова, а тем более у Василия Федорова, любимого моего поэта, впереди - каждый шаг ликованием осветлен. Молодость, молодость...

Потеряв их, дорогих и огненнокрылых, я сегодня встал на их место и вижу: расстояние, ими одоленное, моего не легче. Не поэтому ли я о них часто думаю? Даже, когда один, в затерянной деревушке, в занесенной до крыши избе холодным и жестоким бураном, я словно разговариваю с ними. Живых я их стеснялся, а мертвых я их ни капли не робею: я ведь так и не осознал, что они - мертвые. Они со мною, как в моей молодости, деспотически добрые и честные, опора и гордость моя.

"Ну, Рюрик Александрович!..

"А что "ну", что? У него лицо Бога!"..

И появилась мысль тревожная,

Что очень многие из нас

На прошлом,

Позабыв то прошлое,

Еще оступятся не раз.

Конечно, не все забывают прошлое, хотя их, забывших свое прошлое, много, но не больше, не больше нас!..

Однажды мы засиделись у Анатолия Владимировича Софронова: был у него день рождения, так ли собрались к нему русские люди - сейчас я не могу сказать точно, да имеет ли моя точность значение? Тогда русские люди собирались, жаловались, -

осуждали, решали, радовались, веря, что данная встреча поможет им в борьбе и в обиде, сплотит их и уравновесит в пути праведном...

Собрались. Шумим. Тосты произносим. Хозяина хвалим. А Василий Дмитриевич Фёдоров нас, молодых поэтов, как бы выпускает, мол, давай, давай, покажи себя и удиви соседа... Помню, Фирсов читал стихи, патриотические, очень поддерживающие равенство на братство, справедливость и полное торжество Революции.

Стихи рокотали, свистели, щебетали, гневались, а речь в них шла - Ленина мы врагам не отдадим, вождя не позволим у нас отнять сплетнями о нём, хулениями и даже - восхвалениями, пусть и достойными, но со стороны наших отказников, противников, значит, подозрительными, а подозрение, не родится на песке: под ним, подобным подозрением, как правило, ковырни - обнаружишь заковыку. Вокруг Ленина тогда возились диссиденты. Многих из нас это тревожило и удивляло. Ленин же святой?..

Володе Фирсову аплодировали и охотно соглашались: хватит, дескать, трудно сразу переварить весьма талантливую порцию гражданского мужества, отпущенного поэту Богом на знаменитой ратной Смоленщине. Володя из деревни, чуть ли не из-под Вязьмы, в округе которой лежат золотистоволосые ребята, солдаты с Волги и Урала, Сибири и Дона, Рязани и Курска лежат, а мы, выросшие без них, не забываем их, не прерываем родословную духа русского.

Ждал и я слова... С детства невероятно застенчивый за чужими столами и стряпнёю, щедро хвативший лиха в молодости, рано вкусивший подлейшую ложь соцстратегов, кремлёвских обжор и предателей, бросающих нас, людей трудовых, из крайности в крайность: из кровавых военных атак в кровавую баталию сражений за мир и покой, бросающих нас из налоговой обдираловки и реальной нищеты в обилие посулов и различных съездовских фантазий я прекрасно, на опыте собственном в мартене испытал жестокость демагогии соратников Ильича... И ждал слова.

И Василий Дмитриевич Фёдоров поднимается: "Сейчас попросим неизвестного поэта, уральца, Валентина Сорокина. Пусть никто не ревнует, не терзается завистью. Вы скоро убедитесь: Валентин Сорокин не тот, кого можно приручить, обмануть, не тот, а тот, я не сомневаюсь, тот, кто завтра заставит себя уважать!"...

В юности, ещё раз подчеркну, я не мог спокойно сопротивляться застенчивости - волновался. Фирсов - деревня и Сорокин - деревня. Куда нас деть? И начал:

Я славянин, и стать моя крепка,

И вижу мир я добрыми очами,

За мной летят сказанья сквозь века

И затихают рядом, за плечами.

Меня крылом пожары били в грудь,

Я приседал под свистом ятагана.

Мой путь прямой, и я не мог свернуть

Перед ордой лавинной Чингисхана.

На их стрелу мечом я отвечал,

И, воскресая средь родимых улиц,

Я над могилой врагов качал,

Чтоб никогда они не встрепенулись.

Голодный, непричёсанный, босой,

Лицом закаменев над Русью жалкой...

Аппетитно евшие, рот любопытно разинули - жевать притормозились, а весело пьющие, чарки подзадержали возле губ - интересные строфы. А я продолжал:

Я их сшибал оглоблей, стриг косой,

Я их лупил простой дубовой палкой.

...Молился я и кланялся богам,

Я яд испил из горькой, лживой чаши,

Когда по тюрьмам и по кабакам

Меня швыряли самодержцы наши.

От крови распаясь и от огня,

Расисты шли в мои святые дали:

Они судили ни за что меня

И, как в мишень, стреляли и стреляли.

Вся эта нечисть у меня в долгу,

И гнев

гудит в груди

страшней, чем улей,

И до сих пор я вынуть не могу

Из сердца нержавеющей пули...

Но, обретая силу и красу,

Я говорю через смешки и ропот:

- Да, я не раз ещё тебя спасу

От недруга внезапного, Европа!

Анатолий Владимирович Софронов чуть призаботился над скатертью. Его молодая жена, Эвелина Сергеевна, откинувшись за богатырскими плечами супруга, сочувственно улыбалась. А Володя Фирсов, мой собрат, лирик русский, толкал Сашу Говорова в бок: "Слушай, слушай, эх ты, бодяга московская!"... Захохотали гости, обоюдно неукорчивые и нежные. Чего не хохотать-то? Жизнь наша определена партией и заветами Владимира Ильича Ленина.

Василий Дмитриевич Фёдоров насторожился, а я уже прорывался к финалу, к заключительным строкам другого стихотворения, сочиненного мною в 1964 году и оглашаемому в почётной компании сейчас, в 1969 году: через пять лет - разница?

Я весь, от шляпы и до башмака,

В руках у них, я ими аттестован

Бездарность Самуила Маршака

Превозносить над гением Толстого.

Бессонница горячая и ночь

Сложна, судьба поэта и капризна...

И я не знаю,

чем тебе помочь

И как тебя спасти, моя отчизна?!

Фёдоров сильнее насторожился. Знак мне подал - уходим. А гости, натываясь туманными очами на мои туманные очи, хором взяли: "Едут новосёлы по земле целинной!"...

Я пожал властную ладонь Анатолию Владимировичу и вслед за Фёдоровым распахнул дверь из квартиры хлебосольных Софроновых. Надо отметить: Анатолия Владимировича оппозиционными стихами не прошибить, а презрением к оккупантам, возмущением русским, не запугать - он, мудрый и могучий, молниеносным умом доброго медведя, шуткой, анекдотом, частушкой старинной и благими новостями политическими завораживал внезапные художественные недомогания малоопытных звёзд, появляющихся в столице...

На улице - начало мая. День редкий для Москвы. Солнечный и сверкающий, как серебристый ручей, у нас на Урале, среди белых гранитных скал: звенит, клокочет, извивается и летит - не ухватить за крыло, ясный и ослепительный день майский,

- Куда идём? - сурово осведомился Федоров.

- К метро, к Белорусской...

* * *

Василий Дмитриевич - интеллигентный мужчина, а в сером, почти светлом, посверкивающим сталью, костюме, да с шевелюрой серосверкающей, высокий и строгий, цены не имеет. Идём. А он, едва-едва покачиваясь, предупреждает:

- У памятника. Алексею Максимовичу Горькому, не иначе!.. - Заворачиваем к Алексею Максимовичу. Фёдоров взбадривается:

- Становитесь на колени, я вас благословлю!..

- То есть?..

- Ну, вроде бы назначу преемником, ясно?..

- Конечно!.. А далее?..

- Далее?.. Если благословлю нормально, поедем в ЦДЛ, обмоем, как положено, прикинем грядущие мероприятия...

Василий Дмитриевич глянул пристально на Горького, а, тот - ничего: только палка, нам показалось, слишком здоровенная, зажата в правой руке. Василий Дмитриевич

принялся быстро, быстро крестить меня, шепча какие-то странные фразы, обрывками их “ограждая” площадку сквера: "... ла-ляю... же-лаю... в-верю... вместо Василия Федо..до-ро-ва" и т.д.

Но пережал... Лишне принагнулся, подёрнулся, вперед, и неуклюже ткнулся, а не упал - на меня, внимающего ему, опёрся. Раздался милицейский свисток. Постукивая каблуками, лейтенант козыряет:

- Чем занимаемся, граждане?..

Василий Дмитриевич ответно откозырял.

- Благословляю молодого поэта!..

- А?..

- Молодого поэта благословляю, текст обдумываю!..

- А падать не торопитесь, падать без вас есть кому. Документы?..

Фёдоров протянул удостоверение. Милиционер внимательно прочитал и засиял, засиял, цитируя наизусть:

За красоту времён грядущих

Мы заплатили красотой.

Еще забежим вперед: после суда надо мною поэму о Жукове придавили на тринадцать лет. Некоторые русские патриоты от меня шарахались, а кое-кто ударился в трусливую дипломатию. Прокушев и Федоров даже на писательских съездах СССР не одолели заградотряд цекистов.

Дорогой Анатолий Владимирович!

Жуков Иван Иванович, инструктор ЦК КПСС, сказал мне, завершая наш разговор о поэме "Бессмертный маршал", так: - Передайте мое мнение Софронову, что, если замените фамилию Берия, если дать две-три строфы в эпилоге подъёмных, поэму можно публиковать"... Он очень пообещал мне пособить в ее судьбе продвижения. Оценил ее высоко и вдохновенно.

Из нашего последнего разговора с Вами я уловил Ваше недовольство ею и тем, что она не похожа на большинство холуйски-благополучных поэм ныне... Она лежит у Вас второй год без всякого движения. Я твердо решаю забрать ее, если в самое близкое время я не получу гарантий по ней. Решил забрать я у Вас и тот книжный материал, который пролежал у Вас десять лет. Решил еще и сказать я Вам свое несогласие с тем пафосом Вашим возмущения, который Вы адресовали Прокушеву. Он, например, один из верных у Вас людей. Но Вы это оцените, когда останетесь в одиночестве.

Крепко жму Вам руку!

Валентин Сорокин.

19 июля 1984 года.

P.S. Русским равнодушием и цинизмом меня не удивишь, но и я совершенно убежден, что найдется человек, который честно поможет мне решить судьбу этой справедливой поэмы. Восторженный госдогматизм умирает теперь от социального обжорства, и его разложение слышат даже очень верноподданные официанты.

- Вставай! - прицкнул на меня Василий Дмитриевич, - слышишь, майор милиции мои стихи озвучивает?..

- Я не майор... Я лейтенант...

Фёдоров покосился на милиционера: - Лейтенант... Настоящий майор. Искусствовед!.. - громко заключил он.

А лейтенант между тем остановил "Волгу", такси, и пригласил нас, наказывая шофёру:

- До дома!.. До дома, прямо до дверей!.. Прослежу!..

В машине душно и жарко. Василий Дмитриевич раскис: - А меня Твардовский,

Трифоныч благословил. Сначала осерчал. Я указал ему на две ненужных строфы в "Я убит подо Ржевом", он рассердился, а выпили - благословил. В бане выпили. А тебя я благословил около Алексея Максимыча. Прогресс?..

Машина мчалась наша по кольцу, выкатясь из-за ресторана "Пекин", а Василий Дмитриевич меланхолил: "Брат мой, секретарь райкома, расстрелян в Москве, брат старший, секретарь райкома, сибиряк! Да-а-а... И я, доеду, лифт включаю, а меня вытаскивают и коллективно избивают... Кому нужно? Раз восемь избили. Пытаюсь драться. А зацепиться не удастся. Раз восемь избили...» И он декламировал:

На родине моей

Повыпали снега,

Бушует ветер в рощах голых.

На родине моей, должно, шумит пурга

И печи топятся в притихших сёлах.

Приветом детства

Встала предо мной

С годами позабытая картина:

Горит луна,

И смутно под луной

Поблескивает снежная равнина.

Отбушевав,

Снега притихли - спят.

Среди снегов, запорошивших вербу,

Полозья одинокие скрипят,

Как будто жалуются небу.

Сместилось всё

В сознании моём:

Как будто брежу дальними огнями,

И в полушубке стареньком своём

Шагаю за скрипучими санями.

Вновь мёрзну,

А дорога, далека,

Сугробам белым нет конца и краю.

На родине моей

Повыпали снега,

Я их люблю,

За что - и сам не знаю.

Красивый, сильный, спортивный человек, Василий Фёдоров, и поэт он - лучший ныне у русского народа, а жалуется: отчего же плачет душа его седая?.. И я молчал. Молчал. А "Волга" летела и и летела. Минута - и мы у порога.

- А тебя посещают привидения, нет, нет, не привидения, а знамения, знамения, случаются?.. Я маму недавно встретил во сне, маму... Протяжно, протяжно вздыхает: "Трудно тебе, Вася, а старшому-то брату ишшо труднее доля досталась, и-и!"..

Переминается с ноги на ногу, высокий, седой: - Дедушка мой недавно покивал, покивал мне, дремавшему летом в берёзах, сон такой у меня приключился, покивал: "Иди, Василий, иди, но держись на скользких московских асфальтах, держись!"..

Как-то мы с Вячеславом Богдановым, другом уральским, поэтом, заехали к Федорову - угрюмый, небритый, мучающийся. Оказывается, после очередного литературного вечера в Лужниках у него с Кулиевым, Каримом, Гамзатовым и Кугультиновым диалог о русской боли затеялся, траурный и бесперспективный... Страдает. Нам со Славой старается ограничить отравную дозу того их разговора.

Василий Фёдоров - не Чингис Айтматов. В Свердловске, помню, вышли мы на платформу с Сергеем Поликарповым, московским поэтом, а Чингис Айтматов ещё корячится в тамбуре вагона. Серёжа и бросает мне шутку: "Подам я этому бурундийцу руку, Валь, и он решит - в ЦК КПСС и в КГБ мне приказали ухаживать за ним, пока он с дерева благополучно слезет!"..

И Чингис принял, схватил руку Сергея Поликарпова, как действительно руку телохранителя своего, прикомандированного к нему правительством СССР, схватил и, по-обезьяньи, толково прыгнул с лесенки, и, не выпуская руки телохранителя, в автомобиль ловко заскочил...

Теперь Айтматов радуется абортам русских женщин: дескать, сколько миллионов они, русские бабы, задержали и уничтожили в чреве, солдат, колонизаторов русских? Глумливее Василя Быкова откровенничает Чингис Айтматов, а уж им ли русский народ не отваливал собрания сочинений, гонорары, дачи, загранпоездки, ордена, депутатские мандаты, геройские звёзды?!.. Помолчали бы, оба и враз и каждый отдельно, русскоязычные лакеи Брежнева...

Как не процитировать Василия Дмитриевича?

Так чисто,

Так звонкогласо,

Как будто радуясь со мной,

Неугомонные колёса

Стучат, стучат:

"Домой! Домой!.."

Русский дом жив и здоров, где бы и кто бы ни помог тебе выкарабкаться из тамбура,
заруби, вражина: русский дом жив и здоров!

Совершенно отрезвелый Василий Дмитриевич Федоров попрощался стихами Пушкина,
до нажатия кнопки лифта:

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье.

Но, как вино - печаль минувших дней

В моей душе чем старе, тем сильнее.

Мой путь уныл.

Сулит мне труд и горе

Грядущего волнуемое море.

Запнулся... И я легко продолжил пушкинское стремительное исповедание, делая вид, что я не заметил запинки:

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья

Меж горестей, забот и треволненья...

- Будут, будут! - нажал на кнопку Фёдоров... И кабина лифта, как допотопная телега, тронулась вверх, поскрипывая и погрохатывая на этажах. Исчез поэт Василий Фёдоров, необычно вдохновенный и красивый человек...

Седые чащи тоскуют об отчей деревне. Деревня - природа. А природа не стареет. Она погибает, одолеваемая нашей индустриальностью и паразитизмом. Природа - как память: или покинет тебя, недостойного, или светом верным тебя одарит. Кто не в природе - временное и глубоко несчастное создание, ведь тяга к природе - немая надежда на совершенство, ступень к нравственному и физическому образу, выношенному тобою в потерях и ошибках, в победах твоих и поражениях. Ребенок!..

Фёдоров различал меня из многих моих друзей и врагов, хотя врагов я не старался приобретать в дороге, но иногда они сами вырастали передо мною и надо мною, - куда увернешь? Во время суда КПК, Комитета Партийного Контроля, Василий Дмитриевич Фёдоров приехал ко мне в Переделкино. Распечатал бутылку коньяка, поздно ночью, и решительно проинструктировал меня:

- Женщин тебе приписывает комитет?..

- Приписывает...

- Начисто откажись!..

- Политику гнёт?..

- Гнёт...

- Напрочь откажись!.. А женщин?.. Женщин и тебя комитетчики за ноги же не держали?.. Ну, по чарке, по чарке... Откажись, кто тебе улика? Женщины... Политика... Ну, по чарке... по чарке... Дадут пару стукачей на тебя - до гроба хватит...

Ровно через десять лет, после встречи у Софроновых, я был уже закалённее своего учителя и, разумеется, опытнее в битвах с христопродавцами: так меня судьба обязала, судьба! А Василию Дмитриевичу, пока есть я на земле, благодарность повторяю и повторяю: "Спасибо, родной, поэт, свободный и незаменимый, учитель мой русский, за доброту и поддержку твою!"...

Я обращался к нему только на "вы", а он путал: иногда - "ты", иногда - "вы"... А эти строки, за рулем автомобиля, на свистящей скорости, по трассе, я выхватывал из груди, обжигаясь и плача:

Прощание

Василию Федорову

Вот и ты лежишь в земле родимой,

Навсегда суров и молчалив,

А в сибирской пойме лебединой

Реют зори, плещется залив.

Ветер сник на поле Куликовом.

И теперь в Москве не видишь ты,

Как по древним тропам Ермаковым

Прорастают красные цветы.

А в дому скрипит и плачет ставень,

Вечной мглы ему не покорить.

Ну зачем же за себя оставил

Ты меня страдать и говорить?

Свет - призванью и терпенье - людям,

Умираем здесь, а не гостим.

Нужные заветы не забудем.

Грубые обиды не простим.

Не сбегали мы, не уезжали,

Хорошо иль плохо - всё одно.

Нам нигде с тобой за рубежами

Смысла и покоя не дано.

Ведь от совести не отпереться,

В тайниках судьбы не скрыть её.

Кто стрелял в твоё больное сердце,

Тот сегодня ранил и моё.

Снова грозы даль приоросили

И над миром встала синева.

Длинные бессонницы России

Перельются в думы и слова.

Перельются, в душах отзовутся,

Тихо вспыхнут звёздами в ночи.

И к твоей могиле прикоснутся

Их неодолимые лучи.

Неужели не сохранимся мы, русские вселенцы, в чужой и своей памяти, неужели?..

1984 - 1997